

Культура. - 1995. - 28 окт. - с. 2.

Он честно красоте искал

К 70-летию со дня рождения Евгения Винокурова

Ал. МИХАЙЛОВ

Отец был Перегудов, но фамилию он взял от матери — Винокуров. Позднее Евгений Михайлович шутиливо объяснял, что она больше подходит для поэта. А вообще шутка — не его жанр. Винокуров не раз цитировал справку из детского сада, где ему, пятилетнему, дана такая характеристика: “Осведомленность в политико-социальных явлениях хорошая”. Что ни говори, а в этом документе тоталитарной эпохи проявлена способность в угадывании умственного склада подрастающего человека. В студенческие времена товарищи говорили о нем: “Умён, как змий”. При этом он был “настоящий московский парень, никого не боялся, готов был, защищая себя, подраться на улице”, — свидетельство ближайшего друга молодости Константина Ваншенкина.

И как многие поэты, Винокуров был подетски обидчив, плохо приспособлен в быту. Был робок в отношениях с женщинами — это уже, как немногие поэты. С несколько занудной манерой говорить, он мог показаться скучным собеседником для тех, кто не умеет слушать. Как только Винокуров начинал говорить о чем-либо, кроме своих болезней, из глуховатой скороговорки вырисовывались очертания острых наблюдений, свежих мыслей, нередко облеченных в сжатую, афористическую форму.

Он совсем юным, девятнадцатилетним, вернулся с войны и, имея в запасе несколько стихотворений, потянулся в Литературный институт, уже стяжавший себе известность приближица талантов. “В институте на подоконниках сидели мои сверстники, потрясенные войной, — скажет потом Винокуров. — Ни о чем другом мы не могли говорить”.

Стихи начал публиковать в 1948-м, первая книга вышла в 1951-м, а известность принесла книга “Синева” (1956). Б. Пастернак написал автору “Синева”, что книга ему “очень понравилась свежестью и оригинальностью”. Поддержка мэтра и общение с ним укрепили веру Винокурова в свое предназначение.

Он имел право сказать про себя: “Я эти песни написал не сразу. Я с ними по осенней мерзлоте, с неначатыми, по-пластунски лазал сквозь черные поля на животе”. Фронтная тема в ее героико-трагическом освещении не нашла продолжения у Винокурова, но война осталась жить в “пороховых складах” памяти и долгие годы взрывалась в стихах. А в 50-х годах Винокуров на какое-то время заслонила багрово-черный фон войны красотой человеческих лиц, открывшихся ему при ярком солнце победы, причем сделал это демонстративно. “В казарме, густо побеленной, я честно красоте искал”. И нашел ее в ефрейторе Дядине, сыгравшем в солдатском спектакле Гамлета, а за пределами казармы — в синих глазах босоногой девчонок и молодух, встреченных в Полесье.

Он скоро стал мастером. Крупный план в освещении характерной детали, яркая метафорика, образ-символ, кинематографическая раскладка “сюжета” стихотворения становятся отличительной особенностью его письма, еще не утратившего некоторой романтической увлеченности красотой, но уже проникающего в толщу быта в поисках вечных сущностей быстротекущей жизни. Замечательный пример — “Моя любимая стирала”.

Винокуров унаследовал от символистов знаковую мышления, но устремил свой взгляд не в горнюю высь, а на грешную землю. Об умении в одном слове сосредото-

чить суть говорят названия его книг: “Слово”, “Музыка”, “Характер”, “Ритм”, “Зрелища”, “Жест”, “Метафоры”, “Контрасты”, “Жребий”, “Благоговение”, “Бытие”, “Космогония”, “Ипостась”, “Равноденствие”, “Участь”... Символические знаки на пути познания жизни и творческих поисков. При этом легко обнаруживаются проникающие из книги в книгу идеи бытийного и философского характера, так же, как и особенности их поэтического воплощения.

К 60-м годам Винокуров углубился в историю, чтобы понять современность. Раннее представление об истории честолюбиво замыкалось на событиях минувшей войны. Винокуров искал истории логику, пытался осознать себя — “песчинку” в ее страшном водовороте, подвергал сомнению историю как науку, полную “гигантских лжеоткрытий”, доверяясь не только фактам, но и своему чутью художника, инстинкту “пчелы”. Он открыл для себя идею государственности. Сила винокуровских прозрений — в преодолении “очевидностей”, характерной приметой застоя. Поэтому он везде ищет и находит контрасты, поэтому его стихи имеют столь резкие контуры в живописи, столь неожиданные, парадоксальные смыслы. Проникая в духовную сферу жизни, Винокуров словно бы опасался, что кто-то может не поверить в его основательность, в его причастность к общенародным деяниям, к традициям, к истории России. Он и себя хотел убедить в корневой связи с народом, хотел закрепить в родстве с ним. Отсюда такое настойчивое подчеркивание своей простонародности (“Я, люди, с вами ел и пил...”).

Винокуров рассказал о себе в стихах. Рассказ его вписан в свое время, он просвечен мыслью о человеке, о вечности, о духовных ценностях бытия. Почти все писав-

шие о Винокурове отмечали его особое приращение к живописанию быта и даже иногда обвиняли в бытовизме, не замечая, как “черный хлеб” жизни вписывается в фундамент ее экзистенциальной сущности. Без этого невозможно познание вечных истин: “На ощупь мир правдивей”.

Впрочем, поэзия Винокурова настолько богата, что каждый пишущий о нем находит и выделяет что-то близкое себе. Евтушенко выделял бытовую подробность. Ваншенкин видит “настоящего” Винокурова в стихах, где “поражает не наблюдательность, а глубина”. Глубина чувства. Автор этих строк не раз писал о философской лирике поэта. Но и о некоем синтезе бытового и духовного.

К концу 60-х годов Винокуров начинает испытывать сомнения:

“Когда-нибудь ты стукнешься о быт, как о комод в нелепом коридоре”. Отталкиваясь от быта, он то и дело прорывается во всеобщность. Синтез конкретного и общего ведет к познанию человека как единичности. Поэт не выставляет никаких достоинств, требуя любви. “Я человек. И только лишь за это люблю прошу”. Эту позицию необходимо соотносить с признанием: “...Быть человеком — это тяжело”. В пространство между ними Винокуров вмещает все разнообразие проявлений человеческой природы.

Нравственный максимализм в лирике Винокурова обращен к себе. Он воспаряет над бытом в стремлении проникнуть в звездные миры, в тайны Вселенной, пробить поэтическим зрением толщу Мирового океана, забыв на время и грешную землю, и теплый обжитой дом, и стопку чистой бумаги на письменном столе. Все подчиняется вселенской идее, меж строк начинается сквозить холодок вечности, отвлеченная романтика затемняет свет жизни на земле. Таков полюс холода, винокуровский Оймякон.

Но: “Есть русское бродящее начало, как будто суслом полная дежа...” Оно не позволяет оторваться от людского присутствия. Вглядываясь в лица, обдумывая поступки людей, Винокуров полон сомнений: “Кто лучше, разберись-ка — те или эти?” Поэта увлекает искусство угадывания, “разница в душевном складе”. Пафос познания человека ведет в глубины психологии. От самого затаенного, низменного, уродующего психику и отравляющего нашу жизнь, до горных высот человеческого духа — такова амплитуда характеров в поэзии Винокурова. Он спрашивает и отвечает: “Что жизнь? То вечное усилие подняться над самим собой”.

Путь познания у Винокурова нередко весьма драматичен, это отражается в жесте, в физическом усилии, в преодолении косности и инерции (“Я, стиснув зубы, в муках, на пределе, ее добыл. Вот истина моя!”) И тогда в стихах нет легкости, полета, они сполна нагружены как подробностями, метафорикой, так и смыслом. Таковы его опыты с верлибром, затем в сонете, где Винокуров не мог писать легко, вдохновенно. “Поэма о движении” — с ее стремительным ритмом, сменой жестов, графических поз, где стих летуч, артистичен, — блистательный шедевр. Винокуров-реалист подавляет Винокурова-мечтателя, бытописатель уступает место мыслителю.

Есть что-то языческое в поклонении Винокурова искусству: “Священное умение говорить. Произносить слова и строить фразу”. Великая тайна слова, муки творчества, вдохновение как “острый приступ счастья”, моменты прозрачных — все это предстает у Винокурова в поэтическом озарении. Велик, полон тайн, трагичен и праздничен мир поэзии Винокурова.

...Последние годы он жил анахоретом, часто болел, мало общался с коллегами, но стихи писал и публиковал, то погружаясь в античность, в русскую старину, в космос, в воспоминания детства, то подхватывая литературные сюжеты, а иногда и повторяя себя. Предощущение земного предела коснулось его последних медитаций. “Жизнь людская — это капля света посередине ночи мировой...” Но сквозь сумерки ухода робким намеком просвечивает луч надежды, луч вечности...